

ЛИЛИ МАРЛЕН

Елизавета Максимовна — милейшая, добрейшая, деликатнейшая старая дама. Именно дама, назвать ее старухой не поворачивается язык: несмотря на свои восемьдесят четыре, она бодра, весела, активна и заткнет за пояс многих сорокалетних. Елизавета Максимовна носит светлые пальто, шляпы и яркие платки на шее; губы всегда подкрашены бледно-розовой помадой, седые локоны уложены, глаза искрятся любопытством. Каждый день ее расписан едва не по минутам — подруги, прогулки по городу, общество ветеранов, внуки и правнуки, концерты и выставки... сидеть на лавочке у подъезда ей просто некогда.

Елизавета Максимовна — бывший библиотекарь, если они вообще бывают бывшими. Каждое утро ее начинается книгами, и ими же заканчивается день. Читательские конференции, встречи с авторами, вечера поэзии или прозы в районной библиотеке начинались когда-то с ее легкой подачи, а поскольку заканчиваться не собираются, то она — непреременный участник большинства таких сборищ.

Внуков у нее шестеро, а правнуков — только трое. Пока. И все они бабушку и прабабушку обожают. От нее никогда не услышишь, «что получил сегодня по математике?», но часто — «булочку с молоком будешь?», или «через месяц выступление рок-группы NN, через общество ветеранов распространяют билеты, тебе взять?», или «позвонит тебе Ванечка, вот увидишь, у меня глаз верный, такую красавицу, как ты, он не упустит». Пирожки Елизаветы Максимовны, будем честны, не всегда такие же пышные, как пирожки соседки-мужа-моей-третьей-жены, но обязательно лежат на красивом голубом блюде, подаренном ей в пятьдесят восьмом покойным мужем. Младшая внучка, семнадцатилетнее создание с выкрашенными в зеленый цвет дредами, тремя кольцами в ухе и татушкой на правом плече, заявила однажды, что лучших бабушек просто не бывает, — а это что-то да значит.

Елизавета Максимовна хорошо спит по ночам. Но иногда, совсем иногда, ей снятся плохие сны.

Ко всему на свете Елизавета Максимовна относится легко. Идет дождь? — завтра обещают солнце. Промокли сапоги? — выпей горячего чаю и ложись под плед с хорошей книжкой. Задержали зарплату? — проживем, у меня еще две десятки начено. Болит голова? — сходи погуляй. Выговор на работе? — брось, через месяц все забудут. И удивительно, но голова-таки перестает болеть, деньги находятся на следующий день в зимней куртке, которую собираешься сдать в химчистку, а мокрые сапоги и выговор обходятся без последствий. Как у нее это получается? Загадка.

Злые языки поговаривают, что владеет Елизавета Максимовна тайной, доставшейся ей от бабки-знахарки вместе с сотней золотых монет еще царского

времени. А сама она улыбается и молчит загадочно. И приглашает выпить кофе в выходные — ей известна дивная кофейня неподалеку, открылась совсем недавно, и эспрессо там — восхитительный!

Она звонко смеется и на вопрос о самочувствии и делах всегда отвечает: «Все отлично». Она пьет чай с карамельками и смотрит в окно на закат — ярко-красный, размашистый, похожий на неумелый рисунок ребенка — крупные мазки на синем листе неба. Она говорит, что в жизни так много осталось еще интересного, что и четырех не хватит жизни; что очень не хочется умирать, не увидев того и этого; что ей не хватает дня, и, в общем-то, она вполне счастлива и так, но вот еще бы новую бегонию на окошко — и было бы совсем замечательно.

Елизавета Максимовна всегда плачет девятого мая.

Удивительно, но даже болячки, обычные для людей ее возраста, Елизавету Максимовну почему-то забыли. То есть болят у нее колени, конечно, но это не мешает ей ходить на лыжах по выходным и ездить в гости к разбросанным по всему свету внукам. Старшая внучка живет в Англии, у нее двое очаровательных близнецов и муж, потомок русских эмигрантов. Правнуки зовут Елизавету Максимовну загадочным прозвищем «Лэми» и плохо говорят по-русски, но она от души хвастается подругам яркими фотографиями и каждый вечер разговаривает с малышами по скайпу. Ноутбук бабушке подарил, между прочим, средний внук — успешный предприниматель, совсем недавно перебравшийся в Москву. Он носит галстук и пиджак, который расстегивает и швыряет на спинку кресла, а сам скорее набрасывается на бабушкин борщ. А младшая внучка — та самая, с дредами и татушкой — обещала, что попросит крутого байкера Черного Волка и его друзей прокатить бабу Лизу на байке, бабе Лизе обязательно понравится.

Глядя мягкие пяточки правнуков, Елизавета Максимовна редко вспоминает свое детство.

Квартира Елизаветы Максимовны невелика и вся заставлена книжными полками от пола до потолка. На полках вперемешку — книги, глиняные фигурки и расписные сувениры, привезенные из путешествий и подаренные друзьями. На подоконниках — множество цветов, и все они цветут изо всех сил круглый год.

Захламленно, но уютно, говорят о ней друзья и родственники и с удовольствием пьют чай — настоящий индийский (привез недавно в подарок Валечка Комов, в семьдесят девятом он к нам в библиотеку записался), или английский (подарок приятельницы, она сейчас в Англии), или белый с экзотическим ароматом (помнишь Дусю? Так вот она сейчас в Таиланде, представь себе, переслала с оказией) и обязательно со всякими сладостями. Каждое утро, когда солнце выстреливает из-за двенадцатизатжки напротив, Елизавета Максимовна улыбается и настежь распахивает окна. Вечерами она дома бывает редко.

Среди книг лежит на полке огромный альбом с семейными фотографиями. Елизавета Максимовна аккуратно стирает с него пыль, но открывает нечасто.

Средняя внучка, Настя, та, которая в Питере, — бабушкина любимица. Такая же рыжевато-русая и кудрявая, какой была в молодости сама Елизавета Максимовна, с такими же любопытными и веселыми глазами, она, еще учась на третьем курсе, уехала по студенческому обмену в Германию. И не вернулась обратно, нашла себе мужа — загадочным своим взглядом и ямочками на щеках покорила симпатичного преподавателя-немца из Баварии, совсем еще молодого, очкастого, светловолосого, истинного арийца, сдержанного и немногословного. А может, он пленился Настинной разговорчивостью (Елизавета Максимовна выражается деликатно и корректно, а именно — «уболтала Настёнка фрица»). Уже четыре года вместе, и, наверное, скоро свадьба; бабуля должна, просто обязана прилететь к ним в гости, а за визу, билеты и прочее пусть не беспокоится — все будет сделано.

Елизавета Максимовна, против обыкновения, не дает никаких обещаний и отвечает уклончиво. Слишком много дел здесь, в России: то правнучка заболела, то с работы звонили и слезно просили помочь, и обещала ведь, как уедешь, а то прилетает из Перми любимая подруга, с которой десять лет не виделись, ее нужно провести по Плотинке и сводить в «Коляда-Театр» — разве можно уезжать? А через две недели начинается театральный фестиваль, дивные спектакли заявлены, и билеты уже куплены.

Но Настя настойчива. Настя хочет познакомить бабушку с Паулем, а Пауля — с бабушкой, он тебе понравится, вот увидишь, он очень славный и все-все про тебя знает, и ты не волнуйся, у него замечательные родители и чудесный сад, ну ты же не хочешь, чтобы я выходила замуж без твоего благословения? Уже все, кроме тебя, у нас побывали, и мама приезжала, и папа тоже. И с документами все будет окей, все сделает один наш знакомый, он большой чиновник, и от тебя требуются только фотографии, и даже ездить никуда не придется. Ведь ты приедешь, бабуля?

И бабуля наконец решается и начинает собирать нужные справки и фотографии. В конце концов и самой любопытно — посмотреть на Германию, выживет ли она, получив себе Настю на постоянное место жительства?

Елизавета Максимовна вздыхает и каждый вечер молится за внучку.

Большой чиновник не обманывает и действительно делает все в лучшем виде и почти без участия Елизаветы Максимовны. Ей остается только не забыть уложить в чемодан свои любимые туфли-лодочки и Настину кружку с красным слоном, которую внучка уже два года просит мать привезти, а та все время об этом забывает. Кроме кружки, Елизавета Максимовна упаковывает и любимый Настин чай, который почему-то не продается в Германии, и постельное белье, завещанное в приданое девочке, и кучу подарков родителям Пауля и ему самому... короче говоря, за багаж придется платить едва ли не цену самого билета. Но в аэропорт ее обязательно отвезут, а в Дюссельдорфе обязательно встретят, так что самой тащить не придется... а деньги — такие, право, мелочи. И заведя будильник на семь утра, Елизавета Максимовна ложится спать, положив на видное место в коридоре паспорт и билеты — чтобы утром впопыхах не забыть.

Спит она беспокойно и тревожно вздыхает во сне.

Но все проходит благополучно, так благополучно, что кажется — красную дорожку расстелили специально Елизавете Максимовне от дверей квартиры прямо до трапа самолета, и дальше, дальше, в небо, над густой шапкой облаков транспарант повесили: «Добро пожаловать в Германию!». Утро выдается такое пронзительно-ясное, такой рассвет пылает над полем, когда мчатся они в аэропорт Кольцово, что кажется — весь мир замрет сейчас перед такой красотой.

И рейс не задержали, и регистрация прошла быстро и легко, и не было пробок в дороге, успели в самый раз, а сотрудники аэропорта — вежливы и милы, сразу видно — отлично воспитаны. И место в самолете досталось удобное — возле окна. И аэрофлотовский кофе на удивление приличный — в чем-чем, а в кофе-то Елизавета Максимовна разбирается.

Повезло и с соседкой. Милейшая женщина, темноглазая и смугленькая, тридцать лет, летит в командировку, звать Вера. В Германию едет не в первый раз, отлично говорит по-немецки, очень любит Ремарка и Дюма. Елизавета Максимовна, по давней своей привычке библиотекаря, сразу пытается угадать, что девочка читает и как: проглатывает ли всю книгу запоем, а потом возвращается по второму разу, и уже тогда прочитанное обретает четкость и глубину, или читает неторопливо, вдумчиво и медленно, накрывая взглядом героев и мир, усваивая сразу и навсегда.

Всю дорогу они увлеченно болтают о французской литературе, потом — культуре, потом... ладно, о политике не будем, потому что обед развозят. Смеются, вспоми-

ная наперебой старый советский фильм про мушкетеров, Вера цитирует Ремарка — а это, чтоб вы понимали, большая редкость среди молодежи, девочка молодец. Сразу видно ленинградское (простите, питерское) образование. Вера рассказывает о людях, которых повидала в поездках, а Елизавета Максимовна — о тех, кого встречала на встречах, заседаниях и вечерах в своей библиотеке, и обе они приходят к выводу, что человечество, в целом, небезнадежно. Возможно, что и выживет.

Когда съеден уже обед и выпит кофе, Вера вдруг засыпает — сразу, почти мгновенно. Видно, устает на своей работе, бедная. Салон затихает под ровное гудение моторов; дети спят на руках у матерей, подростки уткнулись в экраны смартфонов, немолодой, европейского вида господин напротив читает газету.

Елизавета Максимовна смотрит в иллюминатор и по старой, давней привычке рисует в клубах облаков очертания животных, замков и деревьев. Молочно-белый дракон раскрывает зубастую пасть и выдыхает клубы голубоватого дыма. Женщина смеется тихонько и думает, как много еще удивительного и неизнанного вокруг. И почему-то именно здесь, на высоте десяти тысяч метров, очень хочется жить.

Внизу проплывает похожая на лоскутное одеяло Германия, самолет идет на снижение. Люди просыпаются, переговариваются, поправляют прически, разыскивают закатившиеся под кресло кроссовки и наушники. Бодрый голос стюардессы поздравляет с прибытием по-русски и по-немецки. Елизавета Максимовна смотрит на растущие здания города Дюссельдорфа и думает о Насте. За бортом пасмурно, самолет проткнул плотную гряду туч еще полчаса назад, и солнца уже совсем не осталось. Но там ждет ее внучка, рыжее солнышко, и женщина шуруется, как от яркого света, и улыбается. Вера рядом тихонько зевает и ежится со сна.

Когда приземляется самолет, обе бурно аплодируют мастерству пилотов — этих суровых, отважных мужчин в такой красивой летной форме. А потом переглядываются и тихонько улыбаются друг другу.

Они спускаются по трапу в серый теплый день германского лета, и Елизавета Максимовна озирается по сторонам. Губы ее вздрагивают, а глаза смотрят недоуменно — и растерянно. Она очень редко бывает растерянной, и каждый раз это... непривычно.

Но все проходит благополучно. Уже новенький автобус довозит их до светло-серебристого здания Дюссельдорфа, уже видна вдали толпа встречающих, и Елизавета Максимовна выглядывает в ней Настю, потому что нужно получить багаж; уже устало кивает девушка-таможенник, и первые шаги по немецкой земле ничем, в сущности, не отличаются от таких же шагов по земле московской или, скажем, новосибирской. Гулко смешивается, повисает под ребристым куполом разноязыкая речь с громкими словами объявлений на трех языках; смех, приветственные возгласы и детский плач сливаются в один ровный гул. В воздухе пахнет дорогой, тем неуловимым ароматом путешествий, который еще никто не смог описать словами, и почему-то свежими булочками. Елизавета Максимовна улыбается, оборачивается к Вере, идущей рядом, и хочет что-то сказать...

...и слышит, как звенит за их спинами чей-то мобильник. Громко играет мелодия вызова, и хозяин почему-то очень долго шарит по карманам — видно, позабыл, куда положил.

И старая женщина, не говорящая ни слова по-немецки, эту мелодию узнает — слишком сильно врезался ей в память каждый такт, каждое слово, каждый звук.

Неужели, думает она машинально, кто-то еще помнит эту песню, ей, кажется, почти сотня лет, и знают ее только немцы старшего поколения. Это «Лили Марлен». Кто-то поставил ее на дозвон... ну, точно вызов: мелодия обрывается, сменившись хрипловатым немецким: «Да, я уже здесь. Уже приземлились, да. Все в порядке, милая» — их обгоняет седой господин с легким дипломатом в руках.

И небо стремительно становится неживым, и пол превращается в землю, сухую, растрескавшуюся, она больно ранит босые ступни. И Вера, обернувшись, едва успевает подхватить оседающую на пол Елизавету Максимовну с совершенно белым, искаженным ужасом лицом.

... Славная страна Германия, думает русская командированная Вера несколькими минутами позже. Вернее, не то чтобы думает — подумать ей есть о чем и без этого. Но все-таки — уже сколько раз прилетает сюда и каждый раз удивляется заново. Тому, как четко все организовано. Как быстро и умело решают немцы все нестандартные ситуации, как реагируют на непредвиденные случаи — не важно, сообщение это о заложенной бомбе, роды в самолете или сердечный приступ у одной из пассажиров.

Мгновенно, точно из-под земли, вырастает перед ними служащая — молодая симпатичная женщина в униформе, на бэйдже на груди имя: Ева Краузе. Не проходит и двух минут, как появляется врач, больше похожий на дипломата, немногословный, сухощавый и строгий. Вдвоем с Евой они поднимают, отводят в сторону и усаживают Елизавету Максимовну на стул у большого окна, хлопчут возле нее. Сразу резко пахнет чем-то, похожим на нашатырь.

Потом врач понимает, что эта пожилая фрау не только не говорит по-немецки, но морщится при любой попытке завязать разговор, безошибочно вычленяет из всех стоящих рядом Веру, спрашивает ее, а потом повторяет по-английски:

— Вы меня понимаете? Вы можете говорить со мной?

Вера кивает и объясняет, что нет, она попутчица, летели вместе, полет прошел нормально, фрау ни на что не жаловалась, стало плохо, когда вышли в зал, ее должны встретить, но надо бы объявить по громкой связи.

— Не надо... — шепчет уже пришедшая в себя Елизавета Максимовна. — Мне уже лучше. Не надо.

Не серые ребра высокого потолка аэропорта видит она над собой, а небо, высокое мутное небо, и пыльные яблони во дворе, слышит голос, повторяющий по-немецки приказы, и стук ботинок. И шепчет, шепчет, стараясь вытолкнуть это из себя, выплеснуть, выдать из памяти — и оставить навсегда там, под этим небом, под этим чужим, совсем черным солнцем:

— В сорок третьем... — не хватает воздуха, — нас угнали в сорок третьем. Двести девчат из Смоленска... Мне двенадцать было... Попала на ферму в Баварии... Хозяин любил эту песню: «Лили Марлен». Столько лет прошло, забылось все, а ее — помню. Иногда по ночам просыпаюсь... снится — руки его волосатые и голос жирный. Мне повезло: маленькая была, а других, кто постарше, — тискал. Там доить научилась, навоз выгребать... у мамы дома белоручкой росла, а там пришлось... научиться... Страшно... До сих пор страшно... Два года... даже бомбежка не так страшна, как там... на ферме той проклятой. Хозяйка нас помоями кормила...

Она вздыхает — прерывисто и тяжело — и виновато смотрит на Веру, на стоящих рядом врача и Еву Краузе.

— Простите меня. Я не предполагала, что так получится. — И извиняется: — Ведь теперь эту «Марлен» никто почти и не помнит, ее сейчас не поют. Я не думала, что услышу. И еще язык вокруг, везде — немецкий. Совсем как тогда. Вот ведь... сколько раз по скайпу с Паулем говорили, знала, что он немец, знала, куда еду. И все равно...

Врач берет ее за запястье, деловито шевелит губами, подсчитывая пульс.

— Что она говорит? — тихо спрашивает Ева.

— Войну вспомнила, — коротко отвечает Вера по-немецки. — Ее в детстве в Германию работать угнали.

Женщина вздыхает:

— Это ужасно. Скажите ей, что мы соболезуем.

Елизавета Максимовна опять закрывает глаза и не слышит, как ворчит Вера по-русски:

— На черта ей ваши соболезования, — и добавляет по-немецки: — Спасибо.

— Бабушка! — слышен рядом отчаянный громкий крик. — Бабушка!

Расталкивая людей вокруг, летит, несется к ним Настя — любимая внучка, малышка, чижик, еще по-детски круглолицая, полненькая, рыжие локоны рассыпаны по плечам. Опускается на колени прямо на пол, скидывает со спины зеленый рюкзачок, выхватывает бутылку с водой.

— Бабушка! Ну что с тобой? Что случилось? Лекарство есть?

Елизавета Максимовна улыбается ей и пробует встать.

— Ну, все как будто в порядке, — врач отпускает ее руку. — Укол подействовал, сейчас должно стать легче. Если фрау может встать, мы проводим ее в комнату отдыха.

— Не надо, — вмешивается незаметно подошедший высокий молодой человек в очках, — мы ее родственники. Мы отвезем ее домой и проследим, чтобы она выпила все лекарства.

Вера с интересом смотрит на него. Тот самый Пауль? Похоже. Серьезное тонкое лицо, умные глаза сквозь очки смотрят строго и уверенно, одет неброско, но аккуратно, светлые волосы обрезаны ниже ушей. На Настю смотрит с явной любовью, а на новую бабушку — с тревогой и заботой. Да, здесь явно настоящее чувство. Повезло девчонке.

— Что случилось? — спрашивает Пауль по-русски. Язык явно дается ему с трудом.

— Войну вспомнила, — снова отвечает Вера по-немецки. — Услышала у кого-то в телефоне старую песню «Лили Марлен», стало плохо.

— Да, — кивает Пауль, тоже перейдя на немецкий, — Аса об этом рассказывала. Я знаю. Ужасно, конечно, это все. Столько лет — и все это не забывается.

И добавляет зачем-то:

— У меня прадед был без ног, я его хорошо помню. Он тоже воевал... попал в плен в России. Отморозил там ноги. На протезах потом ходил.

Елизавета Максимовна что-то говорит Насте — шепотом, едва слышно; на бледные щеки ее потихоньку возвращается румянец. А Вера молчит. Резкое «Его к нам никто не звал!» едва не срывается у нее с языка. Ведь ничем не виноват этот совсем молодой и, в сущности, очень славный парень ни перед ней, Верой, ни перед своей будущей бабушкой. Он не воевал. Четвертое поколение, внук за деда не в ответе, тема памяти и вины уже давно пройдена и закрыта. Сколько же должно пройти еще лет, чтобы перестали люди вздрагивать от безобидной «Лили Марлен», просыпаться по ночам от ужаса, вздрагивать, слыша немецкий язык вокруг? Шрамы на теле болят, говорят, до смерти. А шрамы на душе? Может, и после смерти болят они тоже?

Людской поток обтекает их как река. Объявляют посадку на очередной рейс.

Спустя несколько минут в аэропорту города Дюссельдорфа уже ничего не напоминает о недавней сумятице. Поддерживая под руки почтенную пожилую даму, молодые люди ведут ее к выходу, а служащая идет с ними рядом. Люди с сумками, рюкзаками, телефонами, наушниками обгоняют их со всех сторон. Смешиваются потоки немецкого, английского, русского, японского и бог знает каких еще языков. На большом табло над входом светится время — 14.50 — и дата: две тысячи пятнадцатый год.

Вера стоит и смотрит им вслед.

«С тобой, Лили Марлен...» — крутится в голове старая, совсем не модная сейчас песенка.

ЛЯЛЬКИ

Ляльки родились совершенно одинаковые, похожие, как две капли воды, — как и полагается близнецам-двойняшкам. Такие одинаковые, что по первости их путала даже мать. Лоб зеленой мазала той, которую уже покормила; в разные пеленки заворачивала (хотя какие там разные, что нашлось в послевоенных скудных запасах, то и ладно); разные ленты вилетала в косы дочкам. Путали Катьку и Машку все — подружки, родители, соседи. Мать потом как-то приучилась их различать... любая мать видит своих детей даже в полной темноте. Но всех остальных сестры успешно водили за нос — почти всю свою жизнь.

Их звали Ляльки — вслед за старшим братом. Костя, тогда шестилетний, увидев два совершенно одинаковых свертка, привезенных матерью из роддома, долго молчал, ходил вокруг девочек, разглядывал. А потом выдал значительно и весомо: — Ляльки.

Пока не придумали имен, и отец с матерью их так называли. А уж Костя — всегда, всю жизнь, а за ним вслед и все остальные.

В шесть лет Машка обзавелась шрамом на коленке — укусила соседская собака, и с тех пор девочек можно стало различить... летом, когда бегают с голыми ногами. А зимой чулки, поэтому Ляльки так и остались Ляльками.

Они и по характеру были похожи. Обе веселые, вспыльчивые, но быстро отходчивые и добродушные, легкие на подъем, болтушки. Где больше всего шума и смеха в ребячьей компании — там и Ляльки Кузнецовы, где болтовня — там Катька с Машкой, где игра какая — будьте уверены, сестры первые заводили. Их любили, но всерьез не воспринимали, отмахивались, если обсуждали серьезное дело. И было отчего.

При такой невероятной схожести, казалось бы, и дружить сестры должны были отчаянно и на всю жизнь. А они так же отчаянно — ругались. Ссорились, ругались, даже дрались между собой; у Катьки на всю жизнь остался маленький шрамик на среднем пальце — Машка в пылу драки укусила. Ни минуты не могли прожить без спора. Если одна из сестер поддерживала идею, вторая так же бурно ее отрицала. Оттого, может, и не воспринимали их всерьез даже уже во взрослых общих компаниях.

— Дура, — вопили они хором, идя друг на друга с кулаками, — отдавай мою куклу!

— Дура, — кричала Машка Катьке, когда та хватала очередную двойку, — когда тебе мозги привезут уже? Нам мама леденцов обещала, из-за тебя и мне не достанется!

— Дура, — ругалась Катька, когда обнаруживала, что на танцы Машка пошла в ее платье, — чтоб утроба твоя ненасытная сгорела! Зачем тебе это платье, у тебя своих два да тетка третье шьет!

Отец, Иван Макарыч, суровый, молчаливый и степенный — дочери удались не в него, — сносил скандалы молча, но, если сильно расходились девочки, решал вопросы просто: кулаком по столу. И добавлял при этом:

— Заткнулись обе, а то отправлю, куда рак мышей не гонял!

Место было, наверное, действительно страшным, девочки притихали, на несколько дней в доме воцарялся мир.

Иван Макарыч вообще болтливостью не отличался — за день едва ли два десятка слов произнесет. Он, правда, и дома-то бывал редко; лучший слесарь на заводе, пропадал на работе едва ли не сутками, а вернувшись домой, тоже не сидел без дела, все что-то строил, точил, подпиливал. С детства не приучен был к безделью.

Третий сын в большой многодетной семье, Иван с детства знал: как потопашь — так и полопашь. Кузнецовы, как почти все в нашем городе, высланы были в тридцатых на «великую комсомольскую стройку» и не пропали на ней от голода и

холода потому лишь, что умели работать до седьмого пота. Макар Кузнецов, отец, не был ни дворянином, ни офицером, ни лавочником, ни убийцей — всего лишь крепким «кулаком»-крестьянином с наделом земли и двумя лошадьми. Его арестовали и увезли отдельно от семьи, и больше ни жена, ни дети ничего о нем не слышали.

А мать и восьмерых детей отправили за Урал... из большого, крепкого дома — в землянку, из высоких новгородских лесов — в ковильные степи, от мягкой зимы — к тридцатиградусному морозу с метелью. Впрочем, кузнецовская порода оказалась живучей, и лишь младшую, грудную еще, девочку прибрал Господь, а остальные выжили, выросли и держались друг за друга так, как могут только держаться люди, прошедшие голод и беду, понимающие, что в одиночку — гибель.

Поощадила их и война. Из всех сыновей успел повоевать лишь старший, вернулся живым и целым и до конца жизни потом пил по-черному, пытаясь водкой заглушить нестерпимые боли, которыми наградила его контузия.

Четыре сына и три дочери деда Макара жили на двух соседних улицах и своих детей наплодили — не счесть. В ватаге ребятни, носящейся по поселку, половина — кузнецовские. Двоюродных сестер и братьев было у Катьки с Машкой немерено.

Дом Кузнецовых стоял в середине длинной улицы, уходившей одним своим концом в степь, другим — в центр Советского поселка, к магазину и школе. Поселок наш в те годы был действительно поселком, большой рабочий город еще не поглотил его, не сделал своей окраиной. Поэтому тихо было на улицах, заросших лебедой и сурепкой, тихо, и ребятишкам раздолье, особенно летом, в каникулы.

С утра, если не нагрузили домашней работой взрослые, кусок хлеба за пазуху, бутылку воды в сетку — и на улицу, а дикий лук и заячья капуста в изобилии водились в степи. Лихих людей же никто не боялся — в те хоть и голодные, но все-таки полные надежды на лучшее послевоенные годы редкий мерзавец у нас мог обидеть ребенка.

Мужики поселковые ездили в город на работу — всего-то час на автобусе, говорить не о чем, женщины — кто покрепче — работали на том же заводе, остальные возились по хозяйству да на огородах. Почти в каждой семье детей было не по одному, не по двое; только у Ивана Кузнецова после двойняшек перестала носить жена, в остальных же дворах послевоенной мелочи насыпано — что гороху.

И все они, вся эта разнокалиберная ребятня, знали: девчонок Кузнецовых лучше в одну игру не брать и вместе не сводить. Переругаются, переобижаются друг на друга и весь белый свет. В лапту играли в разных командах, в школе сидели за разными партами и подружек себе выбирали разных, еще и хвастались друг перед другом, у кого лучше. И той, и другой хватало свободных ушей жаловаться друг на друга, заключать союзы, ругаться, мириться и вопрошать яростно: «Только честно: ты за меня или за нее?»

Старшие, уже повзрослевшие и поумневшие, от девчонок отмахивались, младшие клялись в вечной дружбе, а на завтра вся компания шла вместе купаться в неглубокой нашей речке с веселым именем Маринка.

При этом со всеми остальными и Катька, и Машка общались мирно, дружить умели крепко и верно, были веселыми и миролюбивыми и умели при случае и насмешить, и пожалеть, и поддержать всех — кроме друг друга.

— Господи, — вздыхала мать, — что ж вас мир-то не берет! Ведь родные же люди, ближе вас и Костика у вас никого на свете нет. Как же вы жить будете, когда нас с отцом не станет?

Дом у Ивана и Софьи был невелик — три комнаты, большие сени, летом служившие верандой, да маленькая зимняя кухонька. Узорчатые ставни, белые занавески на окнах, цветастые половики на полу, выскобленном до блеска, яблоня во дворе — единственная на весь поселок, в то время еще не прижились у нас садовые сорта яблок.

Отсчитывали время большие, солидные часы с кукушкой на стене в «главной» комнате — единственное наследство, вывезенное Кузнецовыми из родной деревни в ссылку.

Строился дом основательно, с душой, а что не хоромы — так не Ивана в том вина, в тридцатые на всех, кто строил свое жилье, и так-то смотрели косо. Может быть, живи Ляльки в разных комнатах, ругались бы они меньше, но — не до жиру; Косте, уже подростку, родители выделили комнатенку, да родительская спальня, да общая комната, солидно называемая «залой», — вот и вся жилплощадь, городи, как хочешь. Шкаф, письменный стол, игрушки — все было общим у девчонок, и злило это их несказанно. То одна на половину другой залезла, то книжки свои на столе раскидала, то другая куклу сестры на свою кровать кинула. . . мало ли поводов?

Костя, мальчишка добрый и миролюбивый, пытался, конечно, мирить сестер. Но они так яростно обвиняли одна другую, с таким возмущением и так искренне призывали брата в свидетели и арбитры, что он в конце концов рукой махнул. Дураков нет — еще потом самому же от родителей влетит, они-то разбираться, кто прав, кто виноват, точно не станут.

Повзрослев, девчонки драться перестали, но еще больше отделились друг от друга. Впрочем, вместе они были недолго. В техникум поступили хоть и в один, но на разные отделения. Маша стала поваром-кондитером, Катя — бухгалтером.

— Дура, — орала Катя на сестру, — зачем тебе это надо? Всю жизнь будешь котлы тяжелые таскать, к тридцатнику грыжу заработаешь, а зарплата — копейки!

— Сама дура, — кричала в ответ Маша, — зато я всю жизнь при масле да при мясе буду! А вот ты в своей бухгалтерии так и прокукуешь в бабском царстве одна, без мужиков!

Костя, к тому времени уже работавший с отцом на заводе, снисходительно улыбался, а на требование «сказать ей, идиотке, что она идиотка!» отмалчивался и отшучивался. Дело решил отец: как всегда, коротко и веско:

— Ша! Идите куда хотите, обе. Только корить потом себя будете, а не нас с матерью, если что.

Как ни странно, из-за парней сестры Кузнецовы не ссорились никогда. Мужского внимания им всегда хватало, от кавалеров отбою не было, вокруг дома крутились, окна обрывали. Впрочем, неудивительно — и Катя, и Маша были хороши собой. Даже непонятно, как у приземистого, коренастого Макарыча и длинноносой, нескладной, толстой, как квашня, Софьи могли получиться такие девчоночки. Обе тоненькие, изящные, глазастые, темные волосы выются мелким бесом, талию ладонями обхватить можно — загляденье!

И вкусы у них были разные: Кате нравились брюнеты, Маше — блондины, Катя любила тихих, тех, кого называли подкаблучником, а Маше нужен был тот, кто сумеет укротить ее буйный характер.

— Спасибо, что хоть мужиков не делят, — хмыкал отец. — А то бы дом по камешку разнесли и поубивали б одна другую.

Сестры фыркали, в редкие минуты согласия переглядывались и пересмеивались. А потом все начиналось сначала. . .

После техникума Маша как-то очень быстро вышла замуж и уехала с мужем по распределению — далеко, в Казахстан, который хоть и не был тогда за границей, но приезжала она раз в год, а то и реже. Дом, хозяйство, старики родители — все это осталось на плечах веселой, шептливой Кати.

Она и тянула этот воз легко. И замуж выскочила как-то между делом, и двух девочек родила. Потом, правда, споткнулась ее быстроногая судьба — младшая, Динка, больной оказалась, и долго-долго ее Катерина вытягивала, по каким только врачам ни таскала, в санаториях с ней чуть не полгода пропадала, учила между делом,

разрываясь между работой и хозяйством. И ведь выгащила, выправилась девчонка. И все равно пела Катерина, как в детстве, и все равно повторяла многочисленной родне, подругам, старшему брату:

— Ничего, девки, мы еще выйдем замуж.

Мария, в редкие свои наезды помогающая сестре, моментально вспыхивала:

— Ты свое уже отходила! — очень почему-то злила ее эта поговорка.

С каждым своим приездом мать и сестра замечали, как тишает, мрачнеет Мария, как угасает ее прежняя легкость, пропадают задор и смешиливость. Все вроде хорошо у нее было: и дом, и муж, и достаток, и даже сын с дочкой здоровенькие да умные. Это уж потом, в девяностые, когда всей семьей свалились Меркенцевы на голову родителям, узнали они: Юрий, муж Марии, пьет. Сильно пьет и много. Трезвый — умница человек, руки золотые и душа нараспашку. Пьяный — свинья свиньей.

— Дура, — орала Катерина сестре в телефонную трубку, — зачем он тебе такой нужен? Разводись! Что ты, сама детей не прокормишь? Всю жизнь при продуктах и теперь не пропадешь. Мужик с возу — кобыле легче! О детях подумай, им какво? А если из дому таскать начнет?

— На своего паразита посмотри, — огрызалась в ответ Мария.

Муж Катерины тоже не дурак был в рот тянуть все, что льется. Ругалась, конечно, она, да толку? Наши, поселковые, пили, пьют и пить будут. Обматерит мужа Катерина, а то и кулаками приласкает, а потом вздохнет и улыбнется, глядя на спящих детей:

— Ничего, девки, мы еще выйдем замуж!

Хоть и виделись Катерина и Мария дай бог чтоб месяц в году, но цапались, стоило сойтись вместе, по-прежнему. К этому уже и привыкли. Родня, в большинстве своем дружная, то вздыхала, то пальцем у виска крутила. После одной особенно крупной их разборки, когда сестры почти неделю не разговаривали, Костя, отвечая двоюродным братьям на вопрос, как дела да что в жизни творится, сказал:

— А что творится — всё как всегда: Ляльки зажигают.

Фраза эта стала в большом клане Кузнецовых крылатой.

Время летело, бежало, катилось колесом, скрипя на ухабах, несло с горы — только годы мелькали. Старилась и болела мать, сторел за полгода отец, едва перевалив за сороковник, от рака легких — вечного бича нашего рабочего города. Постарел, просел, прижался к земле дом, все труднее становилось матери успевать с хозяйством.

Поселок наш давно перестал быть поселком, город — потихоньку, полегоньку — подмял его под себя, сделал окраиной, частным сектором, как писали тогда в документах, Советским районом. Но как ни назови, а нравы и быт во многом остались прежними. Разве что ребятни на улицах поменьшало — молодежь понемногу перебиралась в новые районы, к теплomu туалету и горячей воде в домах. Только летом оживал поселок — скидывали дедам и бабкам на каникулы племянников да внуков.

Катерина, уже давно не Кузнецова, а Савельева, тоже перебралась в свою квартиру в новостройке, но мать не забывала, приезжала почти каждый день и помогала, чем могла. И Мария постоянно присылала родителям деньги, посылки — то обувь племянницам, то полотенца, гречку или банки со сгущенкой, липкую сладкую курагу и консервы «Сайра в масле», в те годы у нас в магазинах было шаром покати. Но Катерина снова ворчала на сестру:

— Уехала, а на меня это все сбросила! Ей что, на почту раз в месяц сходила — и вся любовь. А на мне и хозяйство, и огород, и отца хоронить, и за матерью ходить.

За больным отцом ухаживала, конечно, Катерина. Костя, Константин Иванович, уже начальник цеха — голова-то золотая и руки отцовские! — на работе пропадал сутками, да и много ли помощи от мужика? И крепко обиделась тогда Катерина на Марию — за то, что за полгода приезжала всего один раз, да и то на неделю. Больше

с работы не отпускали, объяснила Мария, к тому времени тоже прошедшая путь от простого повара до замдиректора пищевого комбината. Редкие лекарства присылала для отца, деньги, звонила чуть не каждый день — но вся тяжесть ухода за лежачим, вся боль и слезы, вся маета — все это легло на плечи Катерины. Она почернела, осунулась — приходилось и за отцом ходить, и свою семью в другом конце города не забыть. Но упрямо улыбалась и повторяла свое любимое: мы еще выйдем замуж!

На похороны отца, конечно, Мария приехала. И всю неделю, пока не ответили девять дней, они с Катериной ругались — все обиды друг другу высказали, трижды обзвали друг друга курицами и предательницами, и уехала Мария, так и не попрощавшись с сестрой. Впрочем, посылки — и продуктовые, и одежду для племянниц — присылала она по-прежнему часто.

Девяностые ударили, как контрольный выстрел в голову, как град посреди лета. Не то чтобы их совсем не ждали: голодно в городе стало еще раньше, запасливые старики, пережившие войну, давно заготовили стратегический запас соли, спичек и сухарей.

Их дети, уже взрослые, семейные, выкручивались кто как мог: мыли полы, кто где находил, разносили газеты, обменивались носками и цементом, выдаваемым на работе в счет зарплаты, шили шапки и торговали соленьями на рынках. Каждый выживал как мог.

И если у нас общая беда вроде бы сплотила людей: поселок делился друг с другом чем мог, детей выпасали, как в войну, и масло доставали друг на друга, кто где найдет, — то там, где так сытно и уверенно жила Мария, междоусобица развернулась не на шутку.

Русских погнали из Казахстана. Пришлось уехать и Меркенцевым, бросить хорошую трехкомнатную квартиру, гараж и дачный участок, почти всю мебель и многие вещи. Уезжали почти в чем были, загрузив в машину детей да носильные вещи, едва не ночью, найдя в двери записку с угрозами, увидев разбитое окно и булыжник в комнате на полу. Ехать им, конечно, кроме родительского дома, было некуда.

Катерина, против обыкновения, даже ругалась не сильно. Мать, всегда уступавшая ей в спорах, сказала необычно сурово и веско:

— Здесь ее дом, Катя. Куда же им еще идти?

Старый, уже требующий ремонта дом оказался вдруг перенаселен до отказа. За полгода до приезда Меркенцевых Катерина сдала свою городскую квартиру и переехала с семьей к матери. У нее неожиданно пошло свое дело, свое бухгалтерское агентство, и срочно нужны были деньги. Да и ездить через весь город почти ежедневно, чтобы помогать матери и ухаживать за огородом, стало очень тяжело. Кто же мог знать, что так плохо все сложится в Казахстане?

Жили, смеялись, пели, собираясь огромной родней, кузнецовским кланом — не важно, какая по документам у кого теперь фамилия... Девяностые ли, не девяностые, а лепешки пекли, пели хором, вились под ногами дети, мужики курили во дворе, матеря правительство, женщины отводили душу разговорами. И такой смех звенел в те годы в приземистом старом доме, так светлели лица людей, что ясно становилось: никакие беды, никакие годы не смогли, не смогут убить их — никогда.

Одной семьей мать и сестры жили недолго, чуть больше года. Меркенцевы почти за гроши купили у соседа Семеныча участок по соседству — дом и большой, но очень запущенный огород. Старик перебирался в городскую квартиру, где жил раньше сын; парень умер от передозировки наркотиков.

Времена стояли тяжелые, мутные, и Семеныч не стал сильно наживать на старой развалюхе — живые деньги лучше рассохшегося пола и дымящей печи. Дом требовал большого ремонта, но Юрий, муж Марии, в те годы даже пить бросил от

нехватки средств и множества забот, а руки у него, трезвого, были золотые — отделал избу, как игрушечку: печку перебрал с помощью соседа напротив, крыльцо сложил заново, второй этаж отстроил. Двухэтажные хоромы смотрели теперь на людей красивыми, новыми окнами, внутри — досочка к досочке — отделаны комнаты, в кухне пол узорчатый, из плиток, и цветы кругом — не обычная герань, как у многих тогда, а все с названиями какими-то мудреными: то орхидея, то традесканция, то еще что — Вика, дочка Меркенцевых, увлеклась, собиралась учиться на цветовода.

Повезло Марии и с работой: ее послужной список у нас приняли и оценили. Директором, конечно, не сделали, но старшим поваром она стала. Ненадолго — в девяностые, если был ум и немножко рисковости, хорошо можно было развернуться, и Мария открыла свою пекарню, приносящую им неплохой доход. По крайней мере, дом Меркенцевы достроили быстро, сына и дочь выучили аж в Петербурге да и жили — копейки не считали. Порой, вдевая в уши золотые серьги, вздыхала Мария: посмотрел бы на такие отец да порадовался бы, на машине бы поездил, пожил бы в достатке.

Меркенцевы перебрались на соседний участок, но, как ни крути, забор-то с Кузнецовыми-Савельевыми общий, весь день друг у друга перед глазами. Сестры продолжали ругаться, но чувствовалось уже, что это как-то не всерьез. Орала они друг на друга по-прежнему, обзывали одна другую то курицей, то стервой, то сумасшедшей, но детей выпасали по очереди, без слов занимали одна другой деньги, вместе возили мать по врачам и в собес, а когда весь большой клан Кузнецовых собирался на семейные праздники, пели, сидя бок о бок, как в юности.

У Катерины с работой тоже сложилось неплохо: главбух. Ее опыт, умение и чутье оценили, когда фирмы и фирмочки множились, как грибы после дождя, и хорошие бухгалтера стали на вес золота. Наконец-то вздохнули они с мужем посвободнее, перестали считать копейки и растягивать стиральный порошок до зарплаты; и девочки Катеринины, умницы, выросли, выучились, не бедствовали, пару раз даже за границу ездили, то ли по обмену опытом каким-то, то ли в командировки.

Ляльки остались все такими же похожими внешне, обе почти не раздались вширь, коротко стригли темные волосы и прически укладывали похоже. Дети, многочисленные подростки племянники и внуки, долго путали их, тетю Катю называли тетей Машей, а тетю Машу окликавая тетей Катей, а то и — со спины — вовсе «мам». Но одевались они теперь по-разному: Катерина, как и раньше, любила яркие, цветные длинные юбки и блузки, Мария предпочитала строгие костюмы, потемнее и пострже, или свитера с брюками.

Разругались Ляльки, и сильно, когда умерла мать. Что ж вы хотите, наследство всякую семью на прочность проверяет. Родительский дом по завещанию отходил Катерине, с условием, что та часть денег выделяет сестре и брату. Мария обиделась и на мать-покойницу, и на Константина, что не повлиял, не потребовал продажи дома, и, конечно, на сестру:

— Прибрала маму к рукам, заграбастала себе дом. У самой квартира, машина, фирма, и все ей мало.

О том, что Катерина и отца хоронила, и с матерью по ночам не спала, когда та болела, Мария не упоминала. И теперь уже сестра обижалась на нее за это.

Софья, когда умирала, уже задыхаясь, цепляясь за руку Катерины, шептала:

— Дружно... живите... Вы родные люди... помирись с Машей, помирись...

Куда там.

Константин, глядя на них, говорил невесело:

— Ляльки зажигают.

Пробовал он поговорить и с Катериной, и с Марией по отдельности, спрашивал каждую: ну чего вам не живется? что делите-то всю жизнь? Сестры в ответ вывали-

вали на него такое количество обид и претензий — с самого детства, что Константин в конце концов махнул рукой. Сами не маленькие, пусть разбираются.

С братом, впрочем, Катерина и Мария помирились быстро. Константин строго и коротко сказал обеим еще в тот день, когда огласили завещание:

— Это не наш дом, а родительский. Как мама решила, так и сделала. Кто я такой, чтоб ей условия ставить?

— Эта стерва науськала, — зло процедила Мария. — Все себе гребет, все ей мало.

— Ты, — вскинулась Катерина, — ты хоть раз за мамой горшок вынесла? Ты, что ли, с ней сидела по ночам, когда она спать не могла? Ты по больницам ее возила? Да ты в своей загранице палец о палец не ударила, пока я тут мудохалась, а теперь еще что-то требуешь?

Константин посмотрел на обеих, махнул рукой и молча вышел.

Обиду свою несли Ляльки по родне. Каждая нашла себе в большом клане союзников и жаловалась им, и требовала подтверждения: ну ведь правда же, ну права же я? Сестры, братья, тетки и дядья, уже состарившиеся, больные, пытались успокоить, примирить их — тщетно. Живущие бок о бок, после смерти матери не разговаривали они, не ходили друг к другу в гости почти два года.

— Ненавижу ее, — говорила Мария сестрам. — Всю жизнь мне сломала. Из-за нее я с Мишей уехала — чтоб ее не видеть, не слышать. А теперь она меня и дома лишила...

— Сволочь она, — говорила Катерина брату, — всю жизнь меня терпеть не могла, матери в уши дула, все на меня наговаривала. Мама только перед смертью поняла, кто из нас чего стоит...

Пока мать болела, Катерина жила с ней: тяжело было мотаться из одного конца города в другой. После похорон они с мужем оставили свою городскую квартиру дочкам и окончательно осели в родительском доме. Заново перекрыли крышу и починили сарай, сделали ремонт в комнатах, снова развели кур и с удовольствием обихаживали огород. Только в сторону забора, туда, где стоял дом сестры, старалась Катерина не смотреть. Родня, приезжавшая в гости, не знала, к кому из них заходить вперед: свернешь к Катерине — Мария потом выскажет, зайдешь к Марии — у Катерины обида на всю жизнь.

Через несколько лет Мария развелась — не выдержала пьянства мужа. Наблюдать, как на твоих глазах превращается в животное человек, которого ты любишь, — испытание не для всякого. Дети, уже взрослые, мать поддержали, но отца не забывали: навещали, привозили продукты, когда-никогда убирались в запущенной однушке, которую он купил после развода. И скатился, сгинул очень быстро, за несколько лет; смерть его оказалась бессмысленной и безмятежной — замерз зимой в сугробе. Мария, узнав про это, долго молчала, а потом сказала жестко:

— Туда ему и дорога.

Беда пришла, как всегда, не вовремя, но не сказать, что ее не ждали. Ждали, конечно, хоть и надеялись, что обойдет стороной. Родовое проклятие Кузнецовых, кара, неведомо какому предку и за какие грехи посланная, — болезнь почек, идущая по женской линии. От нее умерли мать, бабушка и тетка, и Катерина и Мария отлично знали, что это же ждет и их: раздутый живот, хрупкие кости, жизнь на таблетках, и никто не знает, сколько той жизни, а смерть будет нелегкая.

Хоть и шагнула далеко вперед медицина, а дорога все равно одна и спасение пока лишь одно — гемодиализ. Живут люди на диализе, да только как живут? Всю жизнь к одному месту привязанный, день ты человек — на другой пять часов из жизни выпали, и так — до самой смерти. И благодари Бога, что хоть так, все

равно ведь — живешь. В их поколении открыла счет Катерина, потом двоюродные сестра и брат. Мария оказалась покрепче и отстала от них на целых четыре года.

Получив все результаты обследований, выслушав не подлежащий сомнению диагноз, Катерина долго сидела на скамейке у больницы и молчала, курила одну сигарету за другой. Стоял апрель, солнце слепило глаза, сильный, ровный ветер рвал из рук бумаги, трепал огонек зажигалки. Смяв в руках пустую сигаретную пачку, Катерина сунула ее зачем-то в карман и решительно пошла к машине. Впервые за два года приехала не к своему дому, а свернула к воротам Меркенцевых. Мария тогда уже жила одна — сын перебрался в Питер, дочка вышла замуж и переехала к мужу. Ворота были заново выкрашены, машина стояла во дворе — значит, сестра уже дома.

Зайдя в дом, Катерина, не раздеваясь, выложила на стол все бумаги, рухнула на диван и заплакала.

Прочитав их, Мария долго молчала. Встала, подошла к шкафу, вынула початую бутылку кагора, щедрой рукой плеснула в стакан, вручила сестре. Долго-долго перечитывала заключение, опять шелестела бумагами... налила кагору и себе и выпила залпом. Вымолвила только:

— Значит, и ты.

Потом они плакали вдвоем, ругали одна другую, обзывали дурой и стервой, потом обнялись и снова заплакали. А когда кончились и кагор, и чай с конфетами, Катерина вдруг рассмеялась и, потянувшись влечь, подмигнула сестре:

— Ничего, Манька, мы еще выйдем замуж!

— Господи, какая ж ты идиотка, — вздохнула в ответ Мария.

Катерина держалась долго, больше пяти лет не поддавалась болезни. Уже и Мария ездила на диализ и зачастую чувствовала себя даже хуже, чем сестра, а Катерина все еще работала, хоть и по большей части дома, со свободным графиком, но вела свою фирму, изредка прихватывая и подработки. Сдала она вдруг, в одночасье, сразу и ощутимо — после очередной болезни, обыкновенной вроде бы простуды, так и не поднялась — отказали ноги.

— Дура, — ругалась на нее Мария, — у тебя же есть деньги, что ты жмешься! Поезжай в Израиль, в Германию, там наверняка такое лечат.

— Ай, — отмахивалась Катерина, — кому суждено быть повешенным — тот не утонет. Куда я такая поеду? Да и деньги сейчас девчонкам нужны, Лизку с работы сократили, а Динке рожать скоро. Все равно нигде в мире лекарств от смерти еще не придумали. А умирать я так скоро не собираюсь, и не надеюсь.

Мария долго не смогла мириться с диагнозом. Ездила в Петербург, в лучший в стране нефрологический центр, обследовалась и наблюдалась там, пыталась отменить приговор — но вердикт врачей был неумолим. Ходила по знахаркам, бабкам, экстрасенсам, пыталась таскать туда и сестру, но Катерина отмахнулась и отшутилась, по обыкновению, и «зря тратить деньги» отказалась.

Мария лечилась, тщательно соблюдая все рекомендации медиков, по часам пила лекарства и злилась на Катерину, которая «что-то с утра таблетку выпить забыла, а уже вечер, ладно, сейчас вот еще Динке позвоню и выпью». Она вообще стала очень обидчивой, еще больше замкнулась в себе. Но, как ни странно, в отношении к сестре помягчела; теперь Ляльки ругались не так часто, хотя так же бурно, громко и по-прежнему с привлечением родни со всех сторон.

Потом Марии поменяли график диализа, и ездить в Нефроцентр сестрам теперь приходилось вместе — через день, с семи часов вечера до полуночи. Ну, то есть как вместе — каждая на своей машине, переругиваясь, а то и вовсе молча, не глядя, могли лежать на соседних кроватях и демонстративно одна другую не замечать, просили подать что-то или позвать медсестру кого-то из пациентов, но только не друг друга.

А вернувшись домой, то одна, то вторая звонили подругам, братьям или троюродным сестрам и долго, со вкусом и смаком обсуждать «жуткое Машкино платье в розочках» или «очередные сто двадцатые Катькины сапоги — зачем ей столько?». Родня терпеливо выслушивала эти излияния и тихо посмеивалась: Ляльки загибают, значит, еще живы.

Потом Катерина слегла. Она яростно и наотрез отказалась от перевода в другое отделение диализа — для тяжелых больных; туда пациентов привозила «Скорая». Условия и врачи в нем были, может, и лучше, а вот медсестры и санитарки — почему-то сильно хуже, грубее, и иглу в вену вводили так, что синяки оставались, и рывкнуть могли, если не в настроении.

— Тебя за человека не считают, — говорила Катерина, — лежишь рядом с бомжихой какой-нибудь, так и тебя, и ее одинаково проституткой назовут. Нет уж, туда — только в самом крайнем случае.

И через день Мария, чертыхаясь и кляня сквозь зубы «эту идиотку», выволакивала сестру из дома и кое-как дотаскивала до машины.

— Разъелась, курица, — пыхла она, — отрастила пузо. Таскай тебя...

— На себя погляди, — огрызалась Катерина, — тоже мне кукла Барби. Не таскай, никто не просит.

— Заткнись, — злилась Мария, — а то брошу тут на дороге, и пилай сама на трамвае...

Если дома был в это время Катеринин Михаил, работавший посменно, он возил, конечно, жену сам, но выходные выпадали ему не каждый раз. Катерина старалась, как могла, не обременять собой Марию — но ноги уже не служили. Материлась она во весь голос — на сестру-неумеху, нечаянно делавшую ей больно, на врачей, крутые ступени и скользкий асфальт, а вернее всего — на себя, на беспомощность свою и собственное бессильное отчаяние. По этой громкой ругани и узнавали об их приближении медсестры.

После едва ли не каждой поездки Ляльки могли сутки друг с другом не разговаривать. А потом — куда деваться? График не ждет — ехали вместе снова. А могли, вернувшись за полночь, не спать до утра, чай пить с печеньем и перемывать кости мужьям, детям и правительству.

— Теть Маш, — не раз говорили ей Динка и Лиза, дочери Катерины, — ну давайте мы лучше сиделку, что ли, найдем, что ж вы маму на себе таскаете! Тяжело ведь!

Мария, если в настроении была, отмахивалась, а если не в духе, могла и матом послать:

— Деньги, что ли, лишние? Лучше матери халат купите новый, а то лежит там, как чувырла, перед врачами стыдно.

— Свой сними да постирай, — мгновенно отвечала слышавшая все Катерина, — он у тебя аж черный от грязи.

...Катерина умерла осенью. Деревья тронул желтизной октябрь, похолодало как-то в одночасье, мгновенно. В ту ночь выпал иней, небо очистилось, стало высоким и черным, проступили звезды. Она умирала тяжело и долго, то впадая в забытье, то приходя в себя, и в краткие минуты просветления умоляла не мучить ее, дать уйти спокойно. Мария и дочери Катерины сменяли друг друга у ее постели. Под утро Мария, убаюканная недолгим затишьем, задремавшая, сжавшись в комок, в кресле, услышала вдруг шепот:

— Мы... еще выйдем... замуж...

Вскинулась, метнулась к кровати. Катерина, вытянувшаяся, помолодевшая и строгая, смотрела в потолок большими, уже нездешними глазами.

Ранней весной, едва сошел снег, Мария снова поехала на могилу сестры.

Всю зиму грызло ее томительное беспокойство, невнятная точила пустота внутри, странное чувство — словно отрезана рука или нога... не рука и не нога даже, нет, что-то гораздо большее. Вполовину убавилось сил, открылась внутри, там, где солнечное сплетение, черная дыра. Видно, срок подходит, думалось ей, видно, и мне умирать пора. Оттого и тянуло так часто — не к живым, но к ушедшим.

Всю зиму ездили они, то поодиночке, то с мужем сестры, вместе с Лизой и Диней, на могилу Катерины. Свежий холмик, укрытый снегом, небольшой, совсем скромный серый камень с вырезанными на нем датами и именем, фотография... Совсем молодая, очень красивая женщина смотрела с него весело и легко, с готовностью к улыбке... вот-вот, кажется, засмеется и скажет свое любимое: «Мы еще выйдем замуж».

Снег уже стаял, но от непрогретой земли тянуло холодом. Мария долго стояла у ограды, затем открыла калитку, медленно подошла к могиле. Наклонилась, положила две гвоздики, ярким пламенем разрезавшие черноту земли. И долго молча стояла, трогая большой смуглой рукой прохладный камень.

Послеполуденное солнце скользило по фотографии, и Мария вдруг вспомнила, что снимок этот — единственный, где сестры сняты вдвоем. Это было в один из приездов Марии к родителям; больше Ляльки вместе не снимались. Не руку у нее отрезали, подумалось ей, и не ногу. Половину души отняли, половину ее самой, вот что.

«Кто мог понять, — думала она, — что эта яростная ненависть на самом деле есть любовь, всего лишь один из ликов ее. Кто мог представить, что мы, всю жизнь бывшие вдвоем, когда-то останемся поодиночке. Кто мог сказать мне, как я буду жить — без тебя, нас было двое, мы были — единое целое, а теперь я одна — не одна, а всего только половинка. И кто скажет, как долго мне быть половинкой? Половинкой тебя, половинкой самой себя».

Солнце скользило к закату, мартовский день близился к концу. К концу, который в этом тихом месте ощущается особенно остро... и вместе с тем не видится совсем, растворяется в тихой ясности, становится началом.

Когда последний солнечный луч коснется серого гранита памятника, Мария поднимется тяжело, чтобы уйти, не оглядываясь, и все-таки оглянется. Снова наклонится, погладит фотографию, с которой — молодая и веселая — улыбается ей сестра.

Мария скажет:

— До завтра.

Ветки рябины с соседней могилы кивнут согласно.

Мария скажет:

— Понимаешь, Катюха... на самом деле я тебя люблю. И какие мы с тобой дуры, что не поняли этого сразу.

Ветер шевельнет увядший уже венок, тронет свежие гвоздики.

Мария скажет:

— Понимаешь, Катька, у меня в жизни нет никого роднее тебя. И не было никогда. Даже мама... Я ведь тебя люблю, дура ты моя ненаглядная, я очень тебя люблю и любила всегда.

И услышит в ответ — шелестом листьев, птичьим посвистом, легким вздохом:

— Не бери в голову, дурочка, родная моя. Мы еще выйдем замуж.

И услышит в ответ:

— Я люблю тебя.